

Нить



Елизар Андерсон

Елизар Андерсон

Нить

<https://litres.ru/74546987>

SelfPub; 2026

Аннотация

Ночью Раскола небо над Сент-Уиндом расползлось швом, и город проснулся с Системой: уровни, классы и Твари в пустотах, где реальность работает по правилам игры. Джек Браун, каскадер, который умеет только падать и шутить, умирает в первый раз — и получает класс, которого нет в списках: Нитевод. И проклятие, которого нет ни у кого: Откат. Каждая его смерть возвращает его на сутки назад, а цена вопроса — то, что он больше всего боится потерять. А по ночному городу начинает ходить маска: мирные видят в ней ангела, злодеи — дьявола. И за ней охотится тот, кто уже умер тысячу раз. Фантастика о дублях, памяти и о цене, которую нельзя откатить.

Елизар Андерсон

Нить

ЕЛИЗАР АНДЕРСОН

НИТЬ

Фантастика

2026

АННОТАЦИЯ

Ночью Раскола над Сент-Уиндом небо расплзлось швом, и город проснулся с Системой: уровни, классы и Твари в пустотах, где реальность работает по правилам игры. Джек Браун, каскадер, который умеет только падать и шутить, умирает в первый раз — и получает класс, которого нет в списках: Нитевод. И проклятие, которого нет ни у кого: Откат. Каждая его смерть возвращает его на сутки назад. Цена вопроса — то, что он больше всего боится потерять. А потом по ночному городу начинает ходить маска: мирные видят в ней ангела, злодеи — дьявола. И за ней охотится тот, кто уже умер тысячу раз. Фантастика о дублях, памяти и о цене, которую

нельзя откатить.

СОДЕРЖАНИЕ

Пролог

Глава 1. Раскол

Глава 2. Полуночный обед

Глава 3. Орфей

Глава 4. Дубль два

Глава 5. Рассказ в одном экземпляре

Глава 6. Якорь

Глава 7. Ответ на стук

Глава 8. Перепроводка

Глава 9. Счет, который не сходится

Глава 10. Конец, а не надежда

Глава 11. Вежливость с улицы

Глава 12. Урок счета

Глава 13. Лестница

Глава 14. Конторское дело

Глава 15. Норма

Глава 16. А я — без

Глава 17. Арена

Глава 18. Взнос наличными

Глава 19. Возвращенные

Глава 20. Лоцман

Глава 21. Смерть без свидетеля

Глава 22. Черновик

Глава 23. Писарь

Глава 24. Передавать дальше

Глава 25. Счет старика

Глава 26. Легкая книга

Глава 27. Печать

Глава 28. Держатель города

Глава 29. Рассрочка

Глава 30. Большой дубль

Эпилог. Ноль целых

ПРОЛОГ

Падать я умел лучше всех в Сент-Уинде.

Это не гордость — это статистика. Страховщики, те еще пророки, ставили на меня коэффициент один к девяти и проигрывали деньги годами. Режиссеры говорили не «Браун», а «того, кто падает красиво», и падал я красиво по-научному: сорок метров, камера снизу, замедленная съемка — и вся страна видит, как по мостовой рассыпается человек, который, по мнению мостовой, должен был рассыпаться насмерть. Реклама пива. Титры. Ни моего лица, ни моей фамилии.

Такова работа дублера: твое лицо знает весь город. Тебя — никто.

Мо говорила, что это подходит мне идеально: человек без

лица, вечно в обед. Ее забегаловка называлась «Полуночный обед», хотя полночь там начиналась в шесть утра, когда запах жареного лука поднимал по ступенькам нижнего яруса охранников, дворников и тех, чей рабочий день заканчивался, когда у нормальных людей начинался. Мо наливала мне кофе, не спрашивая, — вторая чашка всегда была крепче первой, потому что к первой я еще спал, а ко второй уже должен был лететь.

— Ты сегодня снова к шести, — сказала она, ставя чашку. Не спросила — констатировала, как расписание. — Студия опять на «Вертикали»?

— Угу. Падение с верхней дороги.

— Красивое?

— Восьмое по счету. Мостовая просит пощады.

Мо хмыкнула и пошла к другим посетителям, а я сел у окна и смотрел, как Сент-Уинд просыпался — медленно и со скрипом, как старый кран на съемочной площадке. Город просыпался каждое утро по-своему: сначала гудели мостовые развязки, потом включалась реклама, потом первый трамвай жаловался на повороты. Я знал эту программу наизусть, как свои дубли, и смотрел ее каждое утро с тем же удовольствием, с каким смотрят хороший старый фильм: все знаешь, а все равно идешь до конца.

— Ты опять улыбаешься один, — сказала Мо, забирая пустую чашку. — Несolidно для человека, который сегодня разобьется.

— Я не разобьюсь. Я профессионал.

— Профессионалы, Джек, разбиваются аккуратнее.

Студия «Вертикаль» занимала старый завод у третьей эстакады, и называлась она так потому, что главную сцену строили вертикально: три этажа металлоконструкций, леса, кран и я — где-то посередине, в подвешенном состоянии, как метафора моей карьеры.

— Браун! — Кэб, наш постановщик трюков, махал снизу двумя руками, что у него означало одно из трех: «все готово», «все не готово» или «я тебя вижу». Я спустился по тросу — рабочий спуск, не номер, — и он хлопнул меня по плечу с такой силой, что по спине пошла пыль.

— Красиво летал. Еще три раза, и Рей согласится на крупный план.

Рей был звездой. Звезда называлась «Рей» и тоже называлась «звезда», что сбивало со счета посторонних: люди думали, что имя — это позывной, а позывной — имя. Рей не снимал лицо крупным планом никогда — даже в душевой сцене он снимался в профиль, потому что, как объяснял режиссер, «профиль — это дешевле». На самом деле Рей был красив ровно настолько, чтобы его красоту можно было монтировать, и умел ровно один трюк: стоять там, где только что упал я. Он делал это блестяще. Я не сарказмировал: встать над только что упавшим дублером так, чтобы казалось, будто ты только что пережил невозможное, — это тоже трюк,

просто оплаченный другим.

— Страховая снова звонила, — сказал Кэб, когда Рей ушел переодеваться. Голос у него был такой, каким читают закрывающие титры: спокойный и последний. — Подняли коэффициенты на все трюки с высоты. Говорят, город нервный, страх нервный, все нервное, платите.

— И что студия?

— Студия платит кэш. — Кэб ухмыльнулся одним углом рта. — Потому что кино, сынок, снимать нужно всегда. Людям плохо — люди смотрят. «Пепел», тот сериал про пожарных, — очередь на съемки до лета. А вот наш фильм пока встал. Две недели, минимум, без вашего любимого падения.

Две недели без работы — это в моем бюджете дыра с диаметром эстакады. Я кивнул, как кивают на смету: услышал, принял, не обрадовался.

— Не вешай нос, — сказал Кэб. — У тебя талант. Ты падаешь так, что даже асфальт извиняется.

— Это комплимент?

— Это актерская работа, Браун. Все остальное — декорации.

Остаток дня прошел по расписанию: еще два падения, оба красивые, мостовая простила мне восьмой дубль и даже, кажется, девятый. После съемок я помогал собирать сцену, потому что сцену собирать надо уметь так же хорошо, как с нее падать, — иначе однажды она соберет тебя. К шести вечера я стоял на верхней дороге, смотрел, как над Сент-Уиндом

встает вечерний ветер, и чувствовал то редкое, чистое удовольствие, которое бывает только после хорошо сделанной работы. День удался. День был обычный. Таких дней у меня складывалась жизнь.

Дома меня ждали стены и гречка.

Квартира была маленькая — комната, кухня и коридор шириной с плечо, — но висела она высоко, на двадцать втором, и окно смотрело на надземные магистрали, так что я засыпал под гул города, как под шум проектора. Сувениры со съемок стояли на полке: кружка из «Пепла», статуэтка, которую Рей выиграл «за мужество» и мне отдал, потому что у него на мужество аллергия, и рамка с фотографией площадки — я там где-то на краю, в тени крана, почти не виден. Подпись под фотографией Кэб сделал сам: «Тот, кто падает красиво». Я ни разу не повесил ее на стену. Почему — не спрашивайте. У дублеров с этим как-то не заведено.

Я поужинал, посмотрел новости — мэр обещал новые парковки, армия ничего не комментировала, как обычно, а синоптик обещал ветер, — и в девять вечера, по привычке сильнее разума, спустился к Мо на второй кофе.

Она встретила меня взглядом человека, который уже знает, что скажешь ты, и уже решил, что ответит он.

— Ты завтра свободен? — спросила она.

— Вроде да. Съёмки встали.

— Тогда зайди после шести. Будет работа. Одна. Такая,

что тебе подойдет.

Я посмотрел на чашку, которая дымилась между нами.

— Законная?

— Очень, — сказала Мо, и не улыбнулась.

Я допил кофе и пошел домой спать. Завтра был обычный день.

Так я решил.

ГЛАВА 1. РАСКОЛ

Домой я шел обычно. Не торопился, не оглядывался — как ходят перед обычным днем. Ветер с верхних дорог пах дождем и чужими окнами, где-то на нижнем ярусе закрывалась кафешка — шумно, со скрипом жалюзи. Я думал о работе, которую обещала Мо. Думал ровно: работа есть работа. Заплатят — упаду.

Так я решил. Так я думал, пока не проснулся.

Будильник показывал 3:07, когда я понял, что меня разбудило.

Тишина.

Сент-Уинд не умолкал никогда — вообще никогда, он так был построен, город, который дышит гулом верхних дорог, как грудь дышит воздухом. А тут — ничего. Ни гула, ни трамваев, ни далеких сирен. Тишина такая плотная, что я слышал собственное сердце и почувствовал себя героем

фильма за секунду до катастрофы. В кино в такой момент герой всегда идет к окну. Я профессионал: я пошел к окну.

Небо над Сент-Уиндом разрезало.

Не вспыхнуло, не потемнело — именно разрезало: по самой середине, над крышами, в небе раскрылась трещина. Длинная, ровная, как разрез на ткани, если ткань держать на свет. Она светилась — не белым и не желтым: цвета у нее не было, был просто свет, и свет этот лился на город, как льется вода из прорванной трубы, все шире, все ниже.

Я стоял и смотрел, потому что ноги — ноги я не чувствовал. Где-то на развязке встал поперек грузовик и ударил в ограждение — звон дошел до меня через мертвый город. Кто-то в соседнем доме закричал. И ровно через семь секунд — я считал, не веря, что считаю, — трещина сомкнулась. Без звука. Как будто небо прикусило губу.

Тишина продержалась еще секунду. Потом город упал на колени.

Кричали все: люди, сирены, сигнализации. В окнах загорался свет, гас, загорался снова. На улице бежал мужик в пижаме и орал в мобильный: «Да смотри в окно!» — сам не глядя, а надо бы. С неба ничего не падало. Падало что-то другое: тени. Возле дома напротив свет фонаря вдруг сделался теплым и липким, как свет в аквариуме, и асфальт в круге света задрожал, как вода. Потом этот кусок двора просто ушел. Не провалился — ушел. На его месте стоял другой:

со стеной, с лестницей вниз, с запахом озона и старой пыли, хотя пыли там быть не могло. Мой двор, мой Сент-Уинд стояли и смотрели в дыру в самих себе, и я стоял у окна с тем же выражением, какое бывает у людей, когда падают сами, а не по тросу.

Потом из дыры что-то вышло.

Оно шло не по асфальту — по краю, по щели между моим двором и тем, что туда пришло. Огромное, темное, с жилой, светившейся изнутри, как неон в тумане. Дворовый пес, старый, глухой, — услышав его, вылез из будки и подошел, как подходят к своим. Больше я его не видел. Я не закричал. Я вообще ничего не сделал. Я стоял за стеклом на двадцать втором этаже, и то, что тварь не подняла голову, я с тех пор считаю не своим мужеством, а ее рассеянностью.

Свет в квартире мигнул и погас. Вместе с половиной города: за окном лег темнотой целый квартал, другой, третий, и жилы тварей в этой темноте светились, как разлитая краска.

Телефон завибрировал в руке — не помню, когда я его взял. Кэб: «Ты цел?» Я ответил: «Цел». — «Завод у развязки... Джек, завод ушел. Вместе со сценой». Я сел на пол у окна и просидел так, пока на горизонте не встало что-то зеленое и неровное. Аварийное освещение, как выяснилось потом. Тогда оно выглядело как свет из той самой трещины, решившей не закрываться окончательно.

Заснул я на полу, в одежде, с телефоном в руке. Это, кстати, первый раз в жизни, когда я заснул без мешков и без ане-

стезии — с анестезией страха.

Утро было тихим, как бывает тихо после похорон.

Люди выходили на улицы молча, пожимали плечами, поднимали с асфальта вещи. Кто-то смеялся — громко, неуместно, как смеются, когда страшно. Радио лепетало про техногенную аварию, потом меняло пластинку, потом снова: слова искали место, место не находилось. Мы ходили по городу, как по квартире после взлома: все на месте, ничего не на месте. В нашем квартале дыры оказалось две: одна у дома напротив, вторая, побольше, за перекрестком. К ним уже никто не подходил. Не потому что кричали запреты — кричали, в желтом, с оружием, — а потому что дыры смотрели в ответ. Моя работа связана со смотрящими в ответ вещами. Я знаю: с такими лучше не задерживать взгляд.

В полдень я спустился во двор — проверить, как люди. Это решение я потом долго разбирал по косточкам, вредной привычкой оставшихся целыми: а что, если бы я не спустился?

Во дворе лежал щит — рекламный, железный, сорванный ветром, который пришел вместе с дырами. Под ним был парень. Живой, шевелился, щит держал его за ногу. Рядом никого. Смотрели из окон — это я понял потом, тогда же я видел только его лицо.

Я бросился под щит. Встал в стойку — мы с Кэбом так поднимали все, что не поднималось, — поймал край и дал.

Железо поддавалось с визгом. Парень вытащил ногу, пополз. Между нами и подъездом оставался метр, может, полтора.

И тут за углом дыра дыхнула.

Я стоял, держа щит, и смотрел, как парень доползает этот метр сам. Он дополз. Дверь за ним захлопнулась. А я еще секунду — честно, может, две — стоял под железом и слушал, как дыра дышит: шуршит по асфальту, как мокрая веревка. Потом ушел в подъезд сам, по лестнице, не дожидаясь лифта, и на лестнице меня стошнило. Не от страха. От того, что я умею падать с сорока метров — и не умею стоять, когда надо стоять.

Вот так Раскол меня и коснулся: не жилой, не дырой — метром чужого асфальта, который я не прошел.

Остаток дня я помню кусками. Телефон, в котором не было сети, — только сообщения Кэба, доходившие через час. Соседи, перебежавшие от подъезда к подъезду стайками, как в детской игре. Радио, обещавшее разъяснения к вечеру, — вечер наступил, разъяснений не последовало. Кто-то пытался уехать: к середине дня пробки встали у всех выездов из Сент-Уинда, а к пяти вечера встали и те, кто разворачивался обратно. Армия пришла к темноте: грузовики, колючая лента, громкоговорители с голосом, который велел успокоиться и ничего не обещал. Город досидел свой первый день, как досиживают ночь перед операцией: вместе, молча, прислушиваясь друг к другу и к себе. Меня спасло потом не мое что-то. Меня спасло то, что к вечеру к дыре подошла девчонка

лет шестнадцать с пустыми руками, встала между ней и нами — встала! — и сказала что-то в пустоту, лицом к теплему липкому свету. Тварь внутри замерла, повернулась и ушла. Девчонка обмякла, ее увели под руки, а во дворе зашептались первое слово новой эпохи: «интерфейс». Говорили, у нее над глазами стояли цифры.

Я стоял в толпе и думал о парне под щитом. О метре. О том, что у кого-то цифры над глазами, а у меня внутри пусто, как в кадре без света.

Ту ночь мы досидели на лестничной клетке — я, тетя Вера, семья с третьего этажа и двое студентов, чьи лица я видел до этого только в лифте. Кто-то принес свечи, кто-то — карты, и мы играли в дурака под сводом, где дрожала лампа аварийного света, потому что в квартирах смотреть в окна уже никто не хотел. На четвертой раздаче тетя Вера сказала: «Зато теперь все соседи как люди», — и никто не рассмеялся, потому что было правдой. К утру студенты знали про мои падения, семья с третьего этажа знала про моего отца, а я знал, что у них двое детей и ни одного запасного выхода. Раскол делал людей как люди — быстрее, чем любой праздник.

Первую неделю мы были статистами. Считали выживших, считали дыры, ждали, что все откатят назад, как плохой дубль. Не откатали. Город привык — привычка крепче стра-

ха, говорил Кэб еще до Раскола, и Раскол это только доказал: через неделю работали кафешки, через две — кино, через месяц мы снимали уцелевшую сцену на второй развязке и играли в карты по вечерам, потому что страх — это рейтинг, а рейтинг надо отрабатывать. Зоны, твари, комендантский час с одиннадцати до шести, солдаты у каждой дыры, патрули на крышах — все это стало бытом быстрее, чем кто-либо из нас успел стать окончательно героем или окончательно трусом. Студию мы с Кэбом закрыли. Мо повесила на разбитое стекло бумажку: «ОТКРЫТО. НА ЗАКАЗ». Город жил.

Меня Раскол, кажется, не коснулся: ни цифр над глазами, ни твари под кожей. Я был цел, как цел был Сент-Уинд, — по привычке.

Так мне показалось.

В тот вечер — три года спустя после того, как небо прикусило губу, — я спустился к Мо за обещанной работой.

ГЛАВА 2. ПОЛУНОЧНЫЙ ОБЕД

Работа, которую обещала Мо, подождала три года. Город был занят: некогда было падать за деньги, когда вокруг падает все.

Вечером я сидел у Мо на своем табурете, и вторая чашка кофе остывала между нами, как третий участник переговоров.

Вы все это уже видели — дыры, тварей, комендантский

час. Осталась цифра, которую не показало небо: за первые сутки Сент-Уинд потерял четыре тысячи человек и обзавелся двумя сотнями зон. Цифра из утренней сводки, сиротливая, как брошенный реквизит.

— Ты завтра свободен? — спросила она. Вопрос прозвучал так, как звучат вопросы, на которые уже знают ответ.

— Вроде да. Съёмки встали.

— Значит, слушай. — Мо вытерла стойку — медленно, дважды, в одну сторону: жест, которым она готовила плохие новости. — Пять тысяч за подъем. Кейс. Старая станция «Орфей». Ты знаешь, где это.

— Знаю. Там зона.

— Там заказчик.

— Заказчик в зоне — это либо Игрок, либо покойник.

— Значит, девять, — спокойно сказала Мо. — Лекарства, Джек. Детские. Там семья сидит в зоне, у них малыш. Скорая туда не едет. Солдаты туда не идут.

— Ты не курьер, Джек. Курьеров в эту дыру не нанять ни за какие деньги. Ты — тот, кто умеет возвращаться.

— Мо, я дублер. Я падаю за деньги в кадре. Вне кадра у меня выходной.

— Знаю. — Она посмотрела на меня так, как умела: будто взвешивает и тебя, и цену, и маршрут. — Ребенку, Джек. Малому. Ты же не против того, чтобы тебя помнили не только по падениям?

Вот это была нечестная работа. Мо знала мою слабость:

вся моя профессия строилась на том, что за мной никто не узнает, и ровно поэтому я всю жизнь хотел, чтобы кто-нибудь хоть раз узнал.

Я взял конверт. Тяжелый — аванс был честным.

— Один вечер, — сказал я. — Один подъем. Концы в воду.

— Всегда, — согласилась Мо. — Подъем в полночь. Семья выйдет на связь у восточной границы зоны и будет ждать ровно до двенадцати тридцати. Опоздаешь — уйдут и не вернутся. Твари по расписанию не ходят, а люди — ходят.

— Ребенку, Джек. Малому.

— Сколько «малому»?

Мо помолчала, и я понял, что спросил лишнее: имена и лица она держала при себе, как ключи.

— Девочка. Года четыре. Имя не скажу — меньше знаешь, легче падаешь.

— Все как я люблю: дедлайн.

Дома я разложил снарягу на столе, как перед съемкой: стропы, карабины, нож с выбоиной на лезвии, баллончик кислоты — привет из старой жизни, — фонарик с запасными батарейками, изолента. Все, чем я умею падать. Я смотрел на это богатство и думал, что зона — не площадка. На площадке всегда есть Кэб, который считает: ветер, расстояние, мешки. В зоне, говорили, считать некому.

На стене висела карта Сент-Уинда — подарок студии, шуточная, с автографами всей съемочной группы. Я взял мар-

кер и обвел район «Орфея». Маркер скрипел так, что стало не по себе. Три недели назад там был квартал, а теперь там дыра, а в дыре — заказчик, который платит девять тысяч за лекарства. Я думал о парне под щитом. Метр асфальта. Вся эта суета со стропами была, если честно, попыткой пройти тот метр задним числом. Откатить назад, как плохой дубль. Так нельзя, я знал. Знал — и разматывал стропы дальше.

Телефон ожил, когда я проверял карабины второй раз. Кэб. В нашем районе слухи ходили быстрее тварей.

— Ты в «Орфей»? — спросил он без приветствия.

— Я в «Орфей» после полуночи.

— Слышь, Браун. — Пауза, в которой он выбирал слова, как обычно выбирал мешки: надежные. — Там не сцена. Там даже не декорации. Там...

— Там девять тысяч, Кэб.

— Там девять тысяч, — согласился он. И добавил то, от чего мне стало тепло и не по себе одновременно: — Ты же понимаешь, что ты дублер. Дублируешь. Кого ты там дублируешь?

Я не ответил. Мы помолчали, как молчат по телефону люди, которым нечего сказать, а бросить трубку жаль.

— Мешки мои тебе не нужны, — сказал он наконец. — А вот назад-то как? Назад у тебя что есть?

Я посмотрел на стол со стропами и кислотой.

— Назад у меня репутация, — сказал я. — Того, кто умеет возвращаться.

Кэб хмыкнул, и мы попрощались, как расходятся перед съемкой: не прощаясь.

Я вышел раньше, чем надо. Ночной Сент-Уинд после комендантского часа принадлежал армии, тварям и таким, как я, — разумеется, в обратном порядке уважения. Патруль у поворота косо глянул на мои стропы, сплюнул и отвернулся: его, видимо, учили не замечать людей, которые идут к дырам. Может, это была самая честная форма заботы.

Кордон у «Орфея» держал парень лет девятнадцати — автомат и лицо ребенка, которому сказали, что он стена. За лентой квартал стоял в темноте настоящей, не городской: ни одного окна, ни одного фонаря. И в этой темноте, как костяшки на ткани, белели буквы на старой мозаике: «ОРФЕЙ». Станция помнила, что была кинотеатром. Говорят, дыры так и работают: не создают ничего нового — вспоминают.

— Проход запрещен, — сказала стена голосом, в котором дрожи было больше, чем железа.

— Я не прохожу, — сказал я. — Я отмечаюсь.

Он не понял. Я и сам не понял, зачем сказал. Наверное, чтобы услышать голос — свой, в этом мертвом месте. Я обошел квартал по краю, отметил крыши: где труба, где антенна, где пролет между домами поменьше, чем я люблю. У ленты, за спиной солдата, на тротуаре кто-то рассыпал семечки — круглая темная кучка, нетронутая. Третья неделя Раскола:

люди уже знали, что к дырам не подходят даже с семечками. Работа есть работа. Заплатят — упаду.

В половине двенадцатого я поднялся на крышу. По привычке: каскадеры всегда смотрят площадку сверху, прежде чем упасть с нее.

Город лежал внизу в своей новой, послеранскольной породе: темный, с дырами, в которых горел свой свет — теплый, липкий, аквариумный. Отсюда виднелись три. Три аквариума, в каждом — свой, не наш мир. Я пересчитал крыши до «Орфея», как прежде пересчитывал траектории: шесть крыш, два пролета, одна антенна, которой лучше не доверять.

Страх пришел, как всегда, аккуратно, за полчаса до работы. Я его знал: он приходит первым, уступает дорогу профессионализму и сидит тихо в сторонке, пока все идет по плану. С дублерами всегда так — страх похож на агента: волнуется, считает процент, но на площадку не выходит. Я постоял, дышал и смотрел, как дыры дышат в ответ. Меня не коснулся Раскол, говорил я себе. Меня коснется работа.

Внизу, на скамейке у подъезда, сидела тетя Вера — старая, глухая, после Раскола не встававшая даже на панихиды. Она смотрела на мои стропы так, как смотрят на гроб: без ужаса, с уважением.

— Туда, — сказала она. Не спросила.

— Туда.

— Мой покойник, — она махнула рукой в сторону дыры за перекрестком, — тоже так ходил. Смотрел, как ты. Вертел в руках веревочку. — Она помолчала. — Вернулся. Вот такой же: думал, что не коснулся. А его коснулось. Не снаружи — изнутри.

— Тетя Вера, я на час.

— На час, — согласилась она и вдруг сунула мне в руку что-то теплое. Бутерброд. С салом. — Ешь. Падать на голодный желудок — дурная примета. Я телевизор не смотрю. Я людей знаю.

Я съел бутерброд на лестнице. Было правильно: страшно и сытно. Как дубль, который еще не сняли.

Дома я лег не сразу. Кейс стоял на столе и молчал — красный, пластиковый, с белым крестом. Я подумал про аптечку и постарался не думать про то, что крест бывает и на могиле. В моей профессии не спрашивают, что внутри. Спрашивают одно: где трос.

Потом все-таки заснул. Ко мне пришел сон, что я падаю — по-настоящему, без сцены, без мешков, просто в темноту, — и во сне это было так спокойно, что я проснулся от собственного спокойствия.

ГЛАВА 3. ОРФЕЙ

Той ночью я падал в третий раз за час, и два первых были

учебными.

Первый раз — с надземной магистрали на грузовик, потому что грузовик был ниже, а внизу патруль. Второй раз — с грузовика на мусорный бак, потому что мусорный бак был мягче патруля. Третий раз я еще не падал, но уже выбирал, куда: вниз, в темноту двора, где заканчивался свет фонарей и начиналась пустота.

Пустота — это когда мир ведет себя как плохой декоратор: улица есть, а продолжения у нее нет. Фонарь горит, но свет у него теплый и липкий, как мед. Дом стоит, но окон в нем не бывало. Твари ходят. Игроки пропадают. Армия обносит такие кварталы колючкой и табличкой «ЗАПРЕЩЕНО», а те, кто бегают ночью, называют их просто — дыры. За один вечер в дыре платят как за месяц площадки. Умереть в дыре не платят никому.

Я стоял на краю козырька, ветер толкал в спину — Сент-Уинд не умел дуть иначе, он вообще ветром стал, его же так строили: город, в котором ветер не стихает никогда, чтобы сносить гарь и запах порта. Где-то подо мной, на уровне улиц, воеет сирена. Комендантский час начнется через сорок минут, и те, кто не успел домой, станут преступниками автоматически. Меня дома не ждали, поэтому я никуда не торопился. У меня был адрес, аванс и коробка на груди, примотанная изолентой.

Я не стал ничего спрашивать. В моей профессии спрашивают одно: где трос.

Мо владела забежаловкой «Полночный обед» на нижнем ярусе, где закон заканчивался раньше, чем кофе. Три года назад, когда небо над городом расползлось швом на семь секунд, Мо не моргнула. Она вытерла стойку и сказала: «Будут заказы». И были. Слухи, адреса, люди, которые нужны были тем, кто прятался, — все шло через ее стойку. Мо была адвокатом, банком и почтой в одном лице, и от нее пахло жареным луком, а не тайнами. За это ее и терпели.

— Пять тысяч за подъем, — сказала она, кладя на стойку конверт. — Кейс. Старая станция «Орфей». Ты знаешь, где это.

— Знаю, — сказал я. — Там пустота.

— Там заказчик.

— Заказчик в пустоте — это либо Игрок, либо покойник.

— Значит, девять, — спокойно сказала Мо и добавила: — Лекарства, Джек. Детские. Там семья сидит в зоне, у них малыш. Скорая туда не едет, солдаты туда не идут. Ты — единственный, кто ходит туда и возвращается.

Врала она всегда одинаково хорошо, и я об этом знал. Но конверт был тяжелый, а профессия у меня такая: падаю за деньги. В кино плакали режиссеры, если я отказывался. В Сент-Уинде плакал я, если отказывался, — по вечерам, считая остаток.

Поэтому я взял конверт, съел ее бутерброд и пошел умирать. В смысле — работать.

Дыру на станции «Орфей» видно издалека, даже если не хочешь. Квартал вокруг нее стоял, как сцена между сценами: декорации собраны, актеров нет. Окна забиты фанерой, на фанере кто-то написал мелом: «НЕ СМОТРИ ВВЕРХ». Хороший совет. Я не послушался, посмотрел вверх — на крышах, против света догорающей рекламы, что-то большое переползло с дома на дом. Не птица. Птицы в Сент-Уинде кончились в первую же неделю, их съели Твари, потом Твари начали есть друг друга, потом нашли нас.

У входа в метро лежал бронежилет армейский, пустой, аккуратный, как снятый. Рядом — табличка. На табличке рядом с официальным предупреждением кто-то дописал маркером: «ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ ЗДЕСЬ БЫЛО ВОСЕМЬ ИГРОКОВ. СТАЛО СТО СОРОК СЕМЬ». Подпись: «СВЕРЯЙТЕ СПИСКИ».

Я сверил. Со своим.

Внутри станция пахла озоном и старой пылью. Пустоты любят запахи, просто не наши: они берут их из памяти места и доводят до искажения. Здесь когда-то пахло попкорном — «Орфей» был кинотеатром до того, как стал станцией, — и теперь попкорн пах так, что хотелось плакать. Я шел по эскалатору вниз, фонарик зажатый в зубах, обе руки свободны. Правило первое на любой площадке: руки дороже света. Правило второе: свет дороже гордости.

Вестибюль встретил меня залом. Он не должен был быть здесь — вестибюль метро, а вокруг кресла, экран, занавес тя-

желый бархатный. Пустота не строит, она вспоминает. Кто-то забыл здесь свой страх, и страх стал архитектурой.

Кейс лежал на сцене.

Красный, пластиковый, с белым крестом. Посреди сцены, как реквизит, забытый после финального аккорда. Я не полез сразу — даже я не настолько хороший актер. Остановился у барьера, посветил, прислушался. Тишина стояла правильная, кинематографичная: такая бывает на площадке за секунду до хлопущки, когда все затихли, и ты знаешь, что кадр будет хороший, потому что даже ветер понял.

Тварь ударила сбоку, из стены.

Я не видел, как она вышла из бетона. Просто бетона внешне стало больше, чем надо, и вся эта лишняя часть пошла на меня. Стеклянная, говорят о них так — стеклянные, потому что сквозь них проходит свет и не проходит пуля. Лапа с жилой, жила с лапой — монтажеры такое не берут, даже в нашем жанре.

Я успел сделать то, что умел лучше всего. Упасть.

Удар прошел надо мной, я скатился по проходу между креслами, выхватил из-под жилета баллончик — не газ, кислоту, привет из моей сумки — и пустил ей в лицо. Лицо — громко сказано, там, где лицо, была жила. Кислота шипела, Тварь взывала в частоте, от которой трескаются зубные пломбы, и я понял две вещи.

Первая: убить ее я не могу. Вообще. У меня был нож, кислота и чувство юмора, а противоположной стороной был ку-

сок ада весом под тонну.

Вторая: кейс лежал между мной и выходом, и Тварь стояла между кейсом и мной.

Я сделал то, что делаю, когда вижу плохую сцену: переписал ее на ходу. Рванул к экрану, запрыгнул на край сцены — пружины кресел скрипнули, как старые киносиденья, — поймал балконную балку и перелетел через зал. Тварь развернулась не сразу: стеклянные не поворачиваются, они переламываются. Эта доля секунды и была моя страховка.

Я схватил кейс. Он был легче, чем обещала Мо, — пустой, поди. Некогда было обижаться: я уже летел к эскалатору, а эскалатор, гад, работал. Не электричеством — пустоты не дарят электричества, они дарят смыслы. Он работал на что-то. Я бежал по поднимающимся ступеням, Тварь за спиной переламывалась через зал, вестибюль вытягивался, как пленка на замедленной съемке, выход был близко, свет был близко, ветер толкал в спину, Сент-Уинд всегда толкал в спину, его так строили: город, который не отпускает, —

Стекло прошло через меня, как сквозь сцены проходит зритель.

Холодно. Очень. Я успел посмотреть вниз: грудь была цела, а вот за грудью, где должны были быть я, свет шел. Красивый кадр, признаться. Если б кто-то снял — вошло бы в деморил.

Тварь наклонилась. В ее жилах плавало что-то похожее на лица.

— Снято, — сказал я ей. Профессиональная привычка: заканчивать дубль вслух.

Черное.

Черное было теплым. Как зал перед сеансом: света нет, а ощущение зрителей есть.

Потом появились буквы. Не перед глазами — просто были. Так появляется боль в зубе: никто ее не рисует, она уже там.

[СИСТЕМА]

Вы погибли.

Класс: НИТЕВОД.

Откат: активирован.

Больше ничего. Ни урона, ни счета, ни «мы сожалеем». Я хотел возмутиться — умереть впервые, а тебе даже не объясняют правила, — но возмущаться было нечем. Тела не было. Была мысль, которая еще помнила, как зовут.

А потом стало больно. Один раз, коротко, как щелчок кинохлопушки.

И я открыл глаза.

Своя комната. Своя кровать. Потолок с трещиной в виде Флориды. Утро — настоящее утро, серое и ветреное, за окном свистят верхние дороги. На тумбочке будильник показывает шесть ноль двух, и дата — вчерашняя.

Я лежал и слушал свое сердце. Оно стучало ровно, обидно

ровно, как у человека, который никуда не спешил и никуда не попадал. Я помнил станцию. Помнил стекло. Помнил, как сказал «снято» — и это было худшее: помнить собственную реплику, когда уже нет публики.

Я сел. В голове плавало окно, как пятно после яркого света:

[СИСТЕМА]

Дубль № 1.

Еще раз.

— Что «еще раз»? — спросил я вслух. Утро не ответило. Ветер за окном гудел в железе мостов, как в пустом зале.

А потом я увидел то, чего в моей комнате не было вчера. На столе лежала маска.

Я встал медленно, как подходят к дикому зверю. Маска лежала тихо, но от нее шел свет — не свет даже, а намерение света, как от сцены перед спектаклем. Она была разделена напополам идеальным швом: одна сторона — белая, крыло из белого металла, перья, тонкие, как выгравированные; другая — черная, шипастая, с глазом-щелью, в котором тлело что-то красное. По шву шла золотая нить. Красивая работа. Кто-то потратил на нее века или наоборот — секунду.

Я протянул руку. На внутренней стороне запястья, под кожей, блеснула тонкая золотая линия — как нить, ушедшая под вену. Я не помнил, чтобы у меня было такое. Я не помнил много чего, если начать перебирать, а я начал — и остановился, потому что на этой дороге легко сойти с ума еще

до завтрака.

Маска ждала.

Я взял ее. Она была теплая, как будто ее только что снял кто-то другой.

За окном Сент-Уинд доживал свое вчера — мое вчера, которое еще не случилось. Где-то там, внизу, в забегаловке с жареным луком, Мо еще не знала, что сегодня вечером даст мне конверт. Где-то в пустоте лежал красный кейс, и я уже знал, что он легкий, и не знал, зачем тогда все остальное.

А на запястье, под кожей, золотая нить чуть натянулась. Не больно. Как напоминание.

Как хлопушка перед кадром.

Я посмотрел на маску. Маска посмотрела на меня — я так и не понял, каким глазом, а может, обоими.

— Ладно, — сказал я. — Давай еще раз.

ГЛАВА 4. ДУБЛЬ ДВА

Утром я проверил реальность радио.

Вел приемник по короткой волне — теоретик из моего подъезда утверждал, что после Раскола эфир «врет по расписанию», и я многое готов был проверить, но не свою голову. Диктор сказал фразу про комендантский час, и я сказал ее вместе с ним. Слово в слово. Склонение, запятая, сиплость на букве «р». Потом еще дважды, на двух разных станциях: погода и курсы армейского пайка.

Реальность не отставала. Значит, проблема во мне.

Вчера был завтра. Нет: сегодня был вчера, точнее — вчера так и не случилось, но я помнил его лучше, чем любой день из собственной жизни, а жил я, признаться, ярко. Я помнил эскалатор «Орфея» и попкорн, помнил, как стекло прошло сквозь грудь со звуком плохой пленки, помнил собственную реплику «снято» — зачем я это сказал, вот что беспокоило больше смерти. Профессионализм, выезжающий в самый неподходящий момент: судя по всему, умирать я буду как жил — с комментарием.

А еще я помнил, что сейчас, примерно через четыре часа, в забегаловку к Мо зайдет человек в серой куртке и положит на стойку конверт.

Нить я нашел к полудню. Не сразу — сначала я стоял на крыше своего дома и делал вид, что проверяю карниз, как будто у карниза есть что скрывать. Потом перестал стесняться. Золотая линия жила под кожей запястья, тонкая, как волос, и когда я смотрел на нее в упор, она не светилась вовсе. Свечение было для остальных случаев.

— Ну, — сказал я нити. — Давай знакомиться.

Ничего. Я вспомнил окно Системы — лаконичное, как вывод из банка, — и понял, что инструкции не будет. Система плевала на onboarding: сам выжил, сам разобрался, сам виноват. Ничего личного, как сказал бы мой агент, если бы у меня был агент, а не кредитор.

Я закрыл глаза и сделал то, чему учат все каскадеры, которым не хватило денег на страховку: представил. Нить. Идет от запястья. Идет куда-то туда, куда я смотрю. Я смотрел на водосточную трубу соседнего дома — и почувствовал, а не увидел: из запястья вышло что-то теплое и натянулось, как леска на ветру.

Я дернул. Мир дернулся в ответ.

Труба встретила меня плечом. Не сказать, что больно — сказать, что позорно: весь полет занял секунду, и закончился он не на трубе, а в кустах под карнизом, где я лежал и смотрел в небо, а небо смотрело в меня, и никто из нас не знал, за кем охотиться первым.

— Дубль второй, — сказал я кустам.

К вечеру я летал уже прилично. Не хорошо — прилично. Разница та же, что между «не разбился» и «красиво»: нить брала якорь там, куда я смотрел, и держалась, пока я держал в голове именно эту точку. Стреляешь взглядом — летишь. Рассеялся — падаешь. Класс, который требует от меня собранности, — это была шутка длиной в книгу, и Система, видимо, смеялась.

Но ветер над крышами, когда нить несет тебя между фонарями, а Сент-Уинд под тобой гудит, как зал перед сеансом, — этот ветер стоил всех кустов города. Я летал по крышам два часа и забыл поесть, а это со мной с тринадцати лет не случалось.

Перед тем как спускаться, я поймал себя на мысли, от ко-

торой стало не по себе: я проверял, не смотрит ли кто. Привычка каскадера — всегда играть на зрителя. А зрителей надо было бы избегать теперь вдвойне. Я еще не знал, что маска решает эту проблему по-крупному. Я еще даже не знал, что решаю ее я.

Гаффера я искал по слухам, а слухи, как водится, искали меня сами.

Он сидел у границы нижнего яруса, где улицы Сент-Уинда опускались под землю и превращались в рынок — такой рынок, что даже Твари заходили туда как в гости, вежливо. Гаффер торговал со старого кинопроектора, поставленного на ящик: лампочка вместо огня, лоток вместо прилавка. В лотке — всякий хлам, из которого после Раскола делались деньги: армейские батарейки, чей-то классовый жетон, котелок с дырой, заряженный, как утверждал Гаффер, «смыслом».

— Ты тот, кто падает, — сказал он вместо приветствия. Голос у старика был такой, каким озвучивают новости в плохих снах: низко и с помехами. — Я твои дубли видел. По телевизору. Качество приемника — мое. Так что заходи, считай, дома.

— Вы меня знаете?

— Я знаю всех, кто умеет падать. Это редкость, сынок. Уметь падать — значит уметь заканчивать. — Он покопался в лотке и вытащил невзрачный гвоздь. — На, первому поку-

пателю за день. Счастливый гвоздь. Не работает, но ты привыкнешь — тоже редкость.

Я купил гвоздь за последние мелкие и решил, что на сегодня мое дураковаление исчерпано. Повернулся уходить — и Гаффер сказал за спину, негромко, как называют цену:

— Покажи запястье.

Я не показывал запястье никому. Я стоял в профиль, рука в кармане. Старик не мог видеть ничего.

— Левая рука, сынок. Я старый, а не слепой.

Я сел на ящик рядом с проектором. Гаффер взял мое запястье двумя пальцами — осторожно, как берут чужую молитву, — посмотрел на нить и молчал долго. Лампочка проектора гудела. Где-то внизу, под ярусами, что-то большое прошло мимо, и рынок на три секунды затих, как зал на хлопке.

— Нитевод, — сказал Гаффер наконец. — Не читай мне окно, я знаю классы лучше твоей Системы. Видел я одного. Давно. Он тоже любил шутить.

— Что с ним стало?

— Он шутил на смертельном дубле. Смешно вышло. — Гаффер отпустил мое запястье. — Спрашивай, что пришел спрашивать. Ты не за гвоздем пришел, ты за рассказом. Рассказы у меня не продаются. Рассказы у меня берутся за смелость.

— Что такое Откат?

Лампочка гудела. Гаффер смотрел на меня долго, и я

вдруг понял, что старик умеет делать то, чему не учат: молчать так, что в молчании собирается ответ.

— Ты умер. Не так давно, — сказал он. Не спросил. — Где?

— «Орфей».

— Пустота тебя взяла?

— Стеклянная.

— Не Тварь тебя убила, сынок. Тварь — это природа. Природа не убивает: она просто есть. — Он постучал ногтем по проектору. — Так вот. Откат. Слышал я про такое один раз. Класс выдается за первой смертью, так?

— Да.

— Значит, считай: у тебя было две жизни до Раскола — та, что ты прожил, и та, что ты прожил бы, если б не зазевался. После первой смерти Система записывает тебя дважды. Один Джек ходит по улицам. Второй лежит в архиве. Смерть — это не конец дубля, сынок. Смерть — это пересъемка.

— А цена?

— А вот цену тебе никто не скажет. — Гаффер впервые улыбнулся, и от этой улыбки стало холоднее, чем от любой Твари. — Не потому что не знают. Потому что неприятно. Каждый откат забирает что-то свое. Мелочи сначала. Потом не мелочи. Система не ворует, сынок. Она платит себе из тебя.

Я смотрел на золотую нить под кожей, и она вдруг показалась мне не моей.

— А маска? — спросил я.

Старик замер. Впервые за весь разговор Гаффер выглядел так, как ему и положено выглядеть старику: старым.

— Какая маска?

Я описал. Белое крыло, черный шип, золотой шов, глаз-щель с красным тлом. Гаффер слушал, не перебивая, и лампочка гудела, гудела.

— Где она?

— Дома.

— Не носи.

— Я и не носил. Я ее даже не трогал почти.

— Трогал. — Он не спрашивал. — Маски не лежат, сынок. Маски ждут. Эта ждала не тебя — она ждала того, кто умеет возвращаться. Таких в городе двое. — Он помолчал и добавил то, от чего у меня по спине пошел холод, реальный, не от лампочки: — Второй из них — не ты. И он про твою маску уже знает. Сегодня к обеду.

— Кто он?

Гаффер закрыл лоток. Жест был простой и окончательный, как конец сеанса.

— Иди к своей Мо, каскадер. Она тебе конверт приготовила. Возьми его, сделай заказ, живи день как положено. А завтра приходи — к обеду, как все люди. Я расскажу про того, кто умирал тысячу раз. Но услышишь ты это только раз, запоминай сразу. Такие рассказы не повторяют. Они идут в одном экземпляре, как хорошие падения.

Я ушел, и позади меня лампочка гудела одиноко, как проктор в пустом зале.

Мо была Мо. Забегаловка пахла жареным луком, жизнью и легкой, неосязаемой ложью, которой пропитан любой бизнес на краю закона. Я сел на свой табурет — и понял, что помню этот день до последней запятой. Помню, как она вытрет стойку. Помню, как повернется к кофейнику.

— Ты сегодня к шести, — сказала она, ставя чашку. — Как обычно.

— Как обычно, — согласился я и добавил: — А после шести ты предложишь мне работу. Пять тысяч. Кейс. Старая станция «Орфей». Я скажу, что заказчик в зоне — это либо Игрок, либо покойник. Ты поднимешь до девяти. Скажешь про ребенка.

Мо замерла с кофейником в руке. Фальшь, которую я внес, была не слышная, а видимая — как монтажная склейка. Мы с Мо играли в нашу партию годами, но сегодня я говорил ее текст, ее порядок, ее паузы.

— Откуда ты... — начала она и не закончила. Мо никогда не заканчивала вопросы, на которые не хотела знать ответов. Она вытерла стойку — медленно, дважды, в одну сторону, жестом, которым готовила плохие новости, — достала из-под стойки конверт, посмотрела на него и спрятала обратно.

— Сегодня никаких заказов, — сказала она тихо. — Иди домой, Джек. И, Джек.

Я обернулся на пороге.

— Если вдруг умрешь — предупреди. Я борщ тогда варить не буду. Стыдно выбрасывать.

Дома меня ждала маска.

Я не шутил про «ждала» — она лежала на столе не там, где я ее оставил. Я помнил: рядом с окном, крылом к стене. Теперь — посреди стола, швом ко мне, как хлопушка перед кадром. В комнате никого не было. Я проверил дважды: как человек и как человек, у которого есть золотая нить и паранойя.

Я сел напротив. Маска смотрела обоими глазами — я так и не понял, как это возможно, но зрительно выходило именно так.

— Ладно, — сказал я. — Условия такие. Я тебя надеваю — ты мне говоришь, зачем ты. И кто тот второй, про которого Гаффер сказал, что он умирал тысячу раз. И почему Мо спрятала конверт.

Маска молчала. Маски вообще-то умеют это лучше всех.

Я взял ее. Холодная — нет: та сторона, что была крылом, теплая, как рука. Та, что шипом, — ледяная, и держать ее было больно, и отпускать — страшно, и я впервые за весь этот день, за весь этот второй вчера, почувствовал то, чего не чувствовал ни на крыше, ни у Гаффера, ни у Мо.

Интерес. Тот самый, с которым в моей профессии падали дальше всех.

За окном Сент-Уинд гудел верхними дорогами, готовясь к ночи. Где-то там, в нижнем ярусе, старик накрывал лоток и готовил рассказ, который идет в одном экземпляре. Где-то в пустоте лежал красный кейс, и теперь я знал, что легкий — а значит, лекарств там никогда не было. И где-то ходил тот, кто уже умер тысячу раз, и, судя по словам Гаффера, шел он не к маске.

Он шел к тому, кто под маской.

[СИСТЕМА]

Квест: доживи до рассвета.

Награда: неизвестно.

— Шутник, — сказал я Системе.

Но шутку оценил.

ГЛАВА 5. РАССКАЗ В ОДНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ

Рассвет того дня застал меня на крыше, и я понял, что выполнил свой первый квест Системы так, как выполнял всю жизнь все трудное: не заметил, как делал. Сидел, смотрел, как над Сент-Уиндом светает, ждал, что Система прокомментирует — не прокомментировала. Ни «молодец», ни «хороший темп», ни счета. Только где-то внизу, в голове, висело тихое и круглое: дожил.

Дома я первым делом посмотрел на маску. Она висела на гвозде у двери — я ее туда повесил, не помню когда, и это было хуже всего: вещь, которую сам себе не объясняешь, ве-

дет себя как жилец. Я взял ее, повертел, поднес к лицу — и отдернул. Не время. Рассказ, рассказ в одном экземпляре: у Гаффера я обещал быть к обеду, а обещания, в отличие от квестов, я выполнял всегда.

Нижний ярус встретил меня запахом лука, озона и жизни, которая не собиралась ничего объяснять. Гаффер сидел на своем ящике, но лоток был закрыт — крышка из фанеры, на фанере мелом: «ЗАКРЫТО. ИДУТ ТИТРЫ». Он увидел меня и, не вставая, достал из-за спины второй стакан.

— Садись, каскадер. Рассказ в одном экземпляре. Такие не читают по бумажке — бумажка лжет. — Он налил из термоса что-то темное, пахнущее травой и, кажется, бензином. — Пей. Для слуха. Что слышит хорошо — тот и говорит правильно.

Я пил и не задал ни одного вопроса. Гаффер это оценил — я видел, как оценил: старик подался вперед, подобрался, как кошка перед прыжком через всю историю.

— Первый месяц после Раскола город был как ты, сынок: живой, испуганный и ни в чем не виноватый. Люди просыпались с интерфейсом и не знали, зачем он. Кто-то шел в армию добровольцем, потому что интерфейс обещал защиту. Кто-то прятался. А кто-то, — он постучал пальцем по стакану, — начал считать. Видишь ли, класс, который выдает Система, — это не подарок. Это ключ. А ключи, сынок, открывают два замка: один — что умеешь, второй — чего хочешь.

У большинства второго замка нет. У одного — был.

Он помолчал, глядя на проектор. Лампочка в проекторе гудела, хотя электричества в ярусе не было уже неделю — я проверил потом, от скуки: провод обрезан, лампа все равно гудит. Ни о чем я не спросил.

— Первого убитого Игрока нашли в зоне у старой биржи. Без ран. Сидел за столом, лицом к окну, и класс у него... отсутствовал. Не умер — именно отсутствовал, как вырванный зуб: соседние зубы на месте, а в десне дыра. Город решил: зона, Тварь, такое бывает. Через неделю — второй. Через пять дней — третий. И вот тогда, — Гаффер понизил голос, не потому что боялся услышать, а потому что так говорят вещи, которые уже случились, — в городе начали считать. Считать умеют все, сынок, но считают по-разному: одни — дни, другие — чужие классы.

— Значит, он за ядрами, — сказал я.

— Ты догоняешь быстро, как падаешь. — Гаффер кивнул. — Ядро класса выпадает, только если убить Игрока в зоне и убить... правильно. Что значит правильно — этого я тебе не скажу. Не потому что жадный. Потому что знание это — как спичка: тому, кто держит, светит, а тому, кто держит не так, — жжет руку. Скажу другое: за первые четыре месяца после Раскола он забрал двенадцать классов. Двенадцать человек, которые могли стать опорой этого города, стали строчкой в его списке.

— Его никто не видел?

— Видели. — Гаффер усмехнулся уголком рта. — Именно поэтому и не видели. Видели — и забывали. Не от страха, сынок: от неловкости. Он стоит рядом, говорит голосом соседа, голосом врача, голосом того, кому доверяешь, — а после стоишь и не можешь вспомнить ни лица, ни роста, только одно: что он был вежлив. Вежливость в нашем деле страшнее злобы: злобу видно за версту, а вежливость пускают в дом.

Я пил его травяное пойло и чувствовал, как по спине ползет холод, аккуратный, по нарастающей, как титры.

— А тысяча смертей? — спросил я. — Откуда счет?

Гаффер поставил стакан. И вот тут старик сделал то, чего я от него не ожидал: оглянулся. Проверил, нет ли за соседними ящиками чужих ушей. Гаффер, который боялся только расписания.

— Один вернулся, — сказал он тихо. — Игрок с откатом, как ты. Повстречал его в зоне и... откупился. Чем откупился — не скажу: жилые тоже бывают вежливые. А сказал мне вот что, и это, сынок, единственное, зачем я тебя сюда позвал. Он сказал: «Старик, я у него был в списке. Не в списке жертв — в списке свидетелей. Он умирает нарочно. Ходит в зоны, будит Тварей, лезет в самые гнилые места — и умирает. Я насчитал до ста и перестал: у него рука даже не дрогнула. Когда он в последний раз поднялся, он мне сказал фразу, которую я теперь не могу забыть, хоть она мне и не нужна. Он сказал: “Тысяча — это не счет смертей. Это счет попыток. Система пришла не для всех. Она пришла выбрать одного. Я

просто ускоряю отбор”». — Гаффер посмотрел мне в глаза. — Вот и все, что известно про того, кого город зовет Коллекционер. Имя — не знаю. Лицо — не помню, хотя видел. Класс — не скажу, потому что не верю: класс у него меняется, как перчатки. Ты хотел рассказ в одном экземпляре — он у тебя в голове. Не делай копий. Копии этого рассказа людей убивают.

Мы помолчали. По ярусу прошла волна торга — чей-то громкий голос, смех, звон — и сдулась. Я крутил в пальцах стакан, собирая вопросы, как камешки: по одному, по важности.

— Старик, — сказал я наконец. — Зачем ты мне это? Я не охотник. Я дублер. Я за деньги летаю и падаю.

— Затем, что ты умеешь возвращаться, — сказал Гаффер просто. — А в этом городе, сынок, умение возвращаться — единственная валюта, которую Система еще не обесценила. Он тоже умеет возвращаться. В этом вся беда. Он не враг твоей силы. Он — твой вывод. — Старик потер пальцами виски. — Слушай меня внимательно, каскадер, и не перебивай, потому что дальше будет коротко. Такие, как ты, умирают по разу и становятся людьми: мягче, честнее, злее — но людьми. Такие, как он, умирают, пока не станут вопросом. А вопросы в этом городе опаснее злодеев: на злодея можно пожаловаться, а на вопрос можно только ответить. Ты — его будущий вопрос. И он — твой. Вы уже встретились, просто

оба еще не знаете.

— И что мне делать с этой радостью?

— Жить, — сказал Гаффер. — Жить, работать, питаться и не лезть в зоны по глупости. Он не придет за тобой сегодня. Он придет за тобой, когда ты решишь, что цена отката тебе известна, — вот тогда он и придет, чтобы назвать настоящую. А до тех пор держись за якорь.

— За какой якорь?

— А вот это, — Гаффер постучал по моему запястью, где под кожей спала золотая нить, — тебе Система в свое время объяснит. Откат держится на якоре: место, вещь, человек — то, к чему тебя возвращает. У каждого возвращающегося якорь свой, и потерять его — все равно что потерять адрес в городе, где все улицы похожи. Найди свой якорь, каскадер. Найди до того, как найдет он.

Я встал, расплатился за рассказ тем, чем расплачиваются с Гаффером, — молчанием, — и уже уходил, когда старик окликнул меня.

— Сынок. Гвоздь мой при тебе?

Я достал из кармана счастливый гвоздь. За эти дни он облез и потемнел, но в руке лежал ровно, как лежат вещи, которые знают свое место.

— Первому покупателю за день — счастье, — напомнил Гаффер. — Не выбрасывай. Гвозди в этом городе держат больше, чем стены. А те, что не держат, — спрашивают, почему. Иди уж. И, каскадер. — Он смотрел мне вслед, и в

голосе его вдруг не осталось ни старости, ни торгашества, только человек, который сказал правильную вещь вовремя: — Когда он придет — а он придет, — не шути. Он шуток не боится. Он их коллекционирует.

Я шел домой верхними дорогами, и Сент-Уинд подо мной жил своей вечерней жизнью: лоточники сворачивали, патрули менялись, где-то на нижнем ярусе репетировала музыка — первый месяц после Раскола город учился заново играть в жизнь, и играл, как умеет: громко и не очень ровно. Я думал о двенадцати вырванных классах. О вежливости, которую пускают в дом. О счете попыток. И о том, что мне предстоит умереть по разу — а значит, предстоит выбрать, каким человеком вернуться.

У самого дома меня окликнули. Мальчишка лет двенадцати, курьер с нижнего яруса, сунул мне конверт и убежал, не дожидаясь ответа — так бегут от тех, кто ходит в зоны. В конверте не было ни текста, только рисунок: карандашом, твердо, одним движением — маска. Разделенная напополам. И под ней строчка, почерком, которого я не знал и почему-то сразу поверил, что не узнаю никогда:

«Тысяча минус один. Ты следующий на прилавке.»

Я стоял на своей лестнице, сжимая бумагу, и впервые за все дни после Орфея услышал, как во мне отвечает Система — не словами. Нить под кожей запястья натянулась сама, туго, как трос перед падением, и где-то внутри, за гранью

зрения, мелькнуло окно:

[СИСТЕМА]

Квест выполнен: доживи до рассвета.

Награда: якорь.

Установи точку привязки до полуночи.

А в кармане, рядом со счастливым гвоздем, что-то звякнуло — маленькое, бронзовое и новое.

ГЛАВА 6. ЯКОРЬ

Весь вечер я посвятил якорю — если слово «посвятил» подходит человеку, который три часа ходил вокруг гвоздика длиной с фалангу пальца. Бронзовый, тяжелый для своего размера, с головкой в виде ласточки. Система объяснилась по-своему, то есть никак: прикоснись к точке привязки и подтверди. Все. Ни слова о том, как выбирать, ни слова о последствиях. Формулировка как у адвоката, от которого зависит срок.

Я рискнул спросить Систему про Коллекционера — вдруг адвокат раскусится. Ответ пришел мгновенно и ничего не значил.

[СИСТЕМА]

Вопрос некорректен.

— А что корректно?

[СИСТЕМА]

Действия корректны.

Вот так, значит, и разговариваем. Я отложил вопросы до лучших времен, хотя, по опыту последних дней, лучших времен не будет: будет только полночь.

Я перебирал варианты, как перебирают кадры на монтаже. Дом. Крыша. Забегаловка Мо. Третья развязка, где стояла студия. Место у сгоревшего завода. Каждый вариант укладывался в ладонь и выскальзывал: дом — это ждать, крыша — смотреть, забегаловка — есть, развязка — было. Якорь, судя по всему, должен был быть не тем, где я бываю, а тем, к чему возвращаюсь. А возвращался я всю жизнь в одно место: в свою комнату на двадцать втором, к окну, из которого Сент-Уинд выглядел как кадр, снятый правильно.

В полночь я подошел к подоконнику с гвоздиком и отверткой. Бронзовый ласточкин гвоздик вошел в дерево легко, без усилия, как будто подоконник сам ждал его сто лет. Я положил ладонь на головку и подтвердил — словом, мыслью, всем сразу.

[СИСТЕМА]

Точка привязки установлена.

Откат: активен.

Мир не вздрогнул. Не вспыхнул. Просто — стал адресным: я почувствовал, как комната за моей спиной присела на корточки и осталась сидеть, ровная и настоящая, в то время как весь остальной город чуть поплыл, как декорация, к которой привык. Понятно, сказал я себе. Теперь у меня есть адрес. В городе, где все улицы похожи, Гаффер не шутил.

Маска ждала на гвозде у двери.

Я снял ее, и она легла в руки теплой — крылатая сторона, как всегда, теплая, шипастая — холодная. Сегодня холодная сторона не колола: сегодня она лежала тихо, как ложь, которая решила подождать. Я поднес маску к лицу, вдохнул — и надел.

Тишина изменилась. Не стала громче или тише — стала видимой.

Я стоял посреди своей комнаты и видел то, чего не было вчера: нити. Тонкие золотые линии — от подоконника к гвоздику-якорю, короткая и крепкая, как должно быть у адреса. От комода к двери. От моей кровати к окну. И дальше — сквозь стекло, в город: тысячи нитей, тонких, как волос, тянулись над крышами Сент-Уинда, от дома к дому, от людей к людям, от каждой дыры — к чему-то. Город, который я знал наизусть, оказался прошитым насквозь, как ткань, и я стоял в нем, дрожа, как игла, которую только что вдевали.

А потом я увидел ее. Одну-единственную, толщиной с кабель: от дыры у «Орфея» — прямо, без изгибов, через весь район — к моему окну. К маске. Она не дрожала. Она была натянута, как трос перед падением, и у меня было тошное, точное ощущение, что с другого конца ее дергают — медленно, по два раза, с паузой. Как стучат в дверь.

— Иди ты, — сказал я в пустую комнату. — Я сегодня не работаю.

Нить ослабла. Не исчезла — ослабла, как отпускают веревку, по которой решили пока не лезть.

Я снял маску и долго сидел с ней на коленях. Потом встал, надел снова — привыкать, — и вышел в город, которого не знал.

Летать в маске было другое дело. Не быстрее — точнее.

Нити, которые я видел сквозь нее, держали меня лучше любых строп: я перелетал пролеты не наудачу, а по линиям, которые город сам протягивал мне под руку, — ступил на карниз, нить подхватила, качнул — следующая. Я не летал по Сент-Уинду. Сент-Уинд перекидывал меня из руки в руку, как бригада перекидывает мешки, только бережно и почти бесшумно. Часовой на крыше морозильного склада прошел в трех шагах, не подняв головы. Собака во дворе отразивших из кустов лодок залаяла — и осеклась, глядя на меня, потом села и отвернулась, как от своего. Я понял правило маски раньше, чем успел им гордиться: она не делает тебя невидимым. Она решает, кем ты придешься.

Я шел по верхним дорогам вдоль кордона, примеряясь к городу, как примеряют костюм, — и тут услышал крик. Не тваринный. Человеческий, молодой, с визгом в голосе, от которого сжимаются зубы.

Во дворе за лентой — того самого кордона, где я когда-то отмечался, — стоял солдат. Лет девятнадцати, автомат и лицо ребенка, которому сказали, что он стена. Три шага от него

по асфальту шла Тварь — небольшая, до плеча, но небольшие, как известно каскадерам, падают точнее. Солдат стрелял. Тварь не замечала. У него кончались патроны, и он это уже понял.

Я не помню решения. Помню только, что нить — одна из тех, что город мне протягивал, — уже шла через пролет, и я летел по ней, как по тросу, крича во все горло, потому что каскадер без крика — не каскадер:

— Эй, огурец! Ко мне лицом, у меня для тебя жалоба!

Тварь обернулась. Маска смотрела на нее своей шипастой половиной — я почувствовал это плечом, как чувствуют взгляд, — и Тварь встала. Не испугалась: встала, как встают перед тем, что старше по рангу. Я ударил ее баллончиком кислоты в то место, где у таких, видимо, лицо, она заверещала в частоте, от которой ноют пломбы, — и ушла. Не убежала: ушла, как уходят с совещания, к которому пришли не по адресу.

Солдат стоял, тяжело дыша, и смотрел на меня. И я увидел, как работает вторая половина маски: его глаза стали тихими. Он смотрел на меня так, как смотрят на пожарного, на врача, на того, кто пришел вовремя, — белое крыло в моем лице стало для него всем, чем должно было стать.

— Ты... — начал он и запнулся. — Ты кто?

— Тот, кто не работает сегодня, — сказал я.

Через двор уже заходили остальные: офицер и двое с фонарями. Свет лег мне в лицо — и я увидел, что маска умеет

со светом то, чего не умеет ни одна тень: фонари дрогнули. Не погасли — дрогнули, как дрожит рука, на которую смотрят.

— Вон там! — сказал солдат тоном человека, который видел ангела и знает, что спорить нельзя. — На стене!

Я был уже на стене. А еще через секунду меня не было и на ней. Уйти по вертикали, в общем, и есть моя визитная карточка.

Утром в забегаловке Мо было не протолкнуться: весь нижний ярус обсуждал ночное. Я сел на свой табурет, и Мо, налив кофе, сказала — тоном человека, который уже все понял и ждет, когда догонишь ты:

— Солдатику нашего с кордона видели с рассвета ходит. Глаза — как у обрученного. Говорит, ему ангел жизнь спас. С крыши прыгнул, огурцом тварь обозвал и ушел вверх ногами. — Она посмотрела на меня поверх очков, которых не носила. — В городе спрашивают: как его звать. Я говорю: напишите ему на стене. Он сам придет и ответит.

— Мо, — сказал я. — Я не герой. Я заходил проверить, как люди.

— Знаю, — сказала она и впервые за все наши годы поставила мне вторую чашку без слов. — Герои заходят проверять, как люди, а потом рассказывают, что случайно. Ешь, дублер. Падать на голодный желудок — дурная примета.

Я съел бутерброд и не стал спрашивать, откуда она знает

про дурные приметы. Некоторые вопросы в этом городе задают не словами.

А нить из «Орфея» к моему окну, толстая, как кабель, лежала натянутая до вечера. И ровно в сумерках — я видел это через маску с крыши — кто-то с другого конца дернул ее два раза. С паузой.

Как стучат в дверь, когда уже знают, что ты дома.

ГЛАВА 7. ОТВЕТ НА СТУК

День я оттягивал так, как умеют только каскадеры и должники: работой. Помогал Кэбу разбирать уцелевший реквизит на второй развязке — мы сносили декорации, которые зона пожалела, и спорили о том, стоит ли студии вообще возвращаться. Кэб говорил: город вернется, значит, вернемся и мы. Я говорил: город вернется другим. Мы оба были правы, что случается чаще, чем нужно.

К обеду я сошел к Гафферу. Старик слушал меня молча — впервые за все наши разговоры не перебил ни разу, и от этого молчания стало хуже, чем от любой громкости.

— Нить, говоришь. Тянется из зоны. Дергают два раза, с паузой, — повторил он мои слова так, будто взвешивал каждое на ладони. — Сынок, слушай старика. То, что зовет один раз, — ловушка. То, что зовет дважды, — заказ. Ловушке отвечают ногами, заказу — руками. Ты идешь?

— Я дублер, — сказал я. — Мне без заказа нельзя: откат

не откатывается.

Гаффер полез в ящик и достал мел — школьный, синий, обглоданный.

— Тогда запомни три вещи, каскадер, и не спорь. Первое: в зоне считай все. Шаги, повороты, ложь — особенно ложь, зона ее обидно чувствует. Второе: зоны ходят кругами. Кружишься — ставь метку, метка стоит на месте, даже когда ты не стоишь. — Он сунул мне мел. — Третье. — Старик вдруг схватил меня за запястье, и рука у него оказалась железной. — Если там тебе предложат считать — чужие счета, чужие классы, чужие попытки — скажи, что ты дублер. Дублеры считают только дубли. Запомнил?

— Запомнил.

— Иди уж. И, каскадер. — Он уже отвернулся к проектору, но голос его догнал меня на лестнице, тихий, как бывает тихим лишь то, что сказано всерьез: — Если не вернешься к рассвету — я тебя не вспоминаю. Договор?

— Договор, — сказал я и пошел встречать ночь.

«Орфей» встретил меня запахом попкорна.

Три недели — и зона так и не передумала: она по-прежнему помнила, что была кинотеатром, и помнила это упрямо, как старики помнят море. Я стоял на перроне со стороны служебного хода — часы до полуночи, комендантский час давно объявил город своим, — и смотрел в темноту, где кончался мой город и начинался чей-то. Нить, толщиной с ка-

бель, уходила вниз, под станцию. Она больше не дергалась. Она ждала.

Я спустился.

Эскалатор работал. Не электричеством — я проверил: обрезанный кабель так и висел. Зоны не объясняют, зачем им эскалаторы, так же как не объясняют, зачем им небо. Мел в руке, маска в сумке — пока в сумке: надел ее я уже на лестнице, потому что без нее в зоне я был зрителем, а со списком смертей, который вел за мной этот город, зрителем быть не полагалось.

Сквозь маску зона была прошита нитями, как все живое: они тянулись от стен к потолку, от билетной кассы к залу, дрожали, когда я дышал. Я шел по ним, как по канату, и ставил метки — мел оставлял на плитке синий след, который светился во тьме ровно до тех пор, пока я на него смотрел. Раз, поворот, метка. Два, метка. Три. Зоны кружатся, Гаффер не врал: в третий раз я вышел к своей же первой метке, и метка эта стояла посреди коридора, которого три минуты назад не было.

А потом зала.

Тот самый зал, где я умер в первый раз. Кресла, экран, занавес тяжелый бархатный — и тишина кинематографичная, за секунду до хлопушки. На сцене, там, где лежал красный кейс, ничего не лежало. А нить — моя нить, кабельная — уходила под сцену, в люк, который я в прошлый раз не видел. Или которого в прошлый раз не было.

Я спустился по лестнице под сцену, и зона, догадавшись, что я иду куда надо, перестала хитрить. Коридор был прямой, сухой, со стенами, отшлифованными чьим-то плечом. Дверь в конце горела собственным светом — теплым, липким, аквариумным. За дверью, в комнате, которую зона помнила как контору, за столом из темного дерева, сидел человек и умирал.

Он был мне на десять лет старше, в куртке дорогой, но порванной, и у него не было одной руки — не оторвана: отсутствовала, как отсутствует зуб, как отсутствовал класс у той девчонки, которую нашли за столом у старой биржи. Я понял это раньше, чем понял, что он Игрок: сквозь маску его нити рвались, путались, гасли одна за другой, как лампы в квартале, уходящем на ночь.

На столе стоял мой красный кейс. Открытый. Внутри, в трех гнездах из поролона, лежали три стеклянных пузырька размером с грецкий орех, и каждый был наполнен туманом, который двигался.

— Снято, — сказал человек хрипло, когда я вошел. — Я же говорил ему: не тянет этот город двух таких, как ты. Он мне: потянет. — Он засмеялся, закашлялся, и кашель был влажный. — Ты по нить пришел. Правильно. Нить — это честность. Она не зовет зря, не как люди.

— Кто ты? — спросил я, хотя знал, что спрашиваю не то.

— Посыльный. — Он махнул здоровой рукой на кейс. —

Бывший. Теперь я груз, который никто не везет. Послушай, дублер — я тебя знаю, все тебя теперь знают, ангел с развязки, — послушай, времени у меня меньше, чем у тебя терпения. В кейсе не лекарства. Лекарства были до этой недели. В кейсе — ядра. Три. Собранные. Он забирает их у сборщиков раз в месяц, у восточной границы, и каждый месяц все чисто: семья, ребенок, дедлайн — сказка для таких, как ты. Ты дошел, дошел бы и до конца, если б не умер. Вот и вся проза, брат.

Я стоял, и во мне что-то медленно, по нарастающей, остывало. Не злость. Злость — это огонь, а у меня внутри было зимнее поле, ровное, как страница перед первой записью.

— Семья есть? — спросил я. — Настоящая?

— Есть. — Посыльный закрыл глаза. — У восточной границы. Девочка. Четыре года, имени тебе не скажу. Лекарства ей нужны — настоящие, не эти. Твоя Мо не врала: она врала не ей, ей ввали выше. Вот что ты мне скажи, дублер, раз уж пришел по нити: три ядра лежат перед тобой, и Система сейчас предложит тебе их поглотить. Она всем предлагает. Тот, кто глотает первое ядро, глотает и второе, и третье, и потом едет за четвертым уже не за деньгами. Я видел, как глотают. Это красиво, сначала. Скажи — что ты будешь делать?

Система, услышав, что о ней заговорили, открыла окно — аккуратно, как официант с меню:

[СИСТЕМА]

Обнаружены: ядра классов (3).

Действие: поглотить / вернуть.

— А если вернуть? — спросил я вслух. — Владельцы мертвы.

Посыльный улыбнулся — в эту улыбку ушло все, что у него осталось.

— Владельцы, может, и мертвы. А классы — нет. Классы, как и счета, не умирают, брат. Они ждут перепроводки. Вернешь — Система их раздаст заново. Не такому, как он. Таким, как та девчонка из твоего квартала. — Он замолчал, тяжело собирая воздух. — Не глотай, дублер. Прошу тебя. У меня больше не за что просить, кроме вот этого.

Я положил руку на край кейса и выбрал. Мне не хотелось силы. Мне хотелось, чтобы счет, который вел этот город, хоть раз сошелся без вычета.

[СИСТЕМА]

Ядра возвращены. Ожидайте перепроводки.

Три пузырька растворились — не треснув, именно растворились, — и три нити, тонких, как волос, выскользнули из кейса, прошли потолок и исчезли в город. Мой кабельный тяжест из «Орфея» при этом вздрогнул — один раз, коротко — и осел, как оседает веревка, когда с нее сняли груз.

Посыльный смотрел, как нити уходят, и его лицо делалось моложе прямо на глазах: так лицам дается обратное то, что с них долго брали.

— Поймал, — сказал он тихо. — Значит, правда перепроводит. Значит, не все... — Он перевел на меня глаза, и в них

вдруг стало настолько ясно, что я отступил на шаг. — Слушай меня, ангел. Он видел тебя. Не в маске — в ней он видит маску. Он видел тебя наверху, на крышах, когда ты летал без нее и радовался. Он смотрел со двора. Он стоял в толпе, когда ты спас солдатику. — Посыльный схватил меня за рукав здоровой рукой, и рука была ледяной. — Он коллекционирует не классы, брат. Классы — это ему деньги. Он коллекционирует способы возвращаться. Способы не умирать. Способы оставаться людьми. Ты — новый способ. Тысяча минус один — это он о тебе, понял? Он себя считает тысячей. А ты — минус один.

— Кто он? — спросил я. — Имя.

— Имена, — посыльный откинулся на спинку стула, и нити его почти погасли, — имена не держат тех, кто умирал тысячу раз, ангел. Имена у таких отстают, как старая кожа. — Он посмотрел на меня в последний раз, и это был взгляд человека, который передает эстафету, зная, что дорога у того будет длиннее. — Скажи своей старухе... что посыльный извиняется. За лекарства. Настоящие лекарства — я велел оставить у восточной границы, под третьей плитой, от парашета. Пусть заберет. Это мой последний честный счет.

— Держись, — сказал я ему, хотя оба знали, что это фраза из другой жизни. — Я выведу тебя.

— Не надо выводить, дублер. — Он улыбнулся, глядя, как гаснут его нити. — Тут тепло. Здесь хотя бы не считают.

Он умер на рассвете — я засек время нечаянно, по то-

му, как за дверью стало меняться тепло. Нити его погасли последними — сначала мелкие, бытовые, потом одна, самая толстая, которая тянулась куда-то в город, через все стены. Она не оборвалась. Она ушла. Я думаю об этом до сих пор.

Зона отпустила меня без хитрости — наверное, решила, что я свое отсчитал. А может, мел Гаффера убедил ее, что с таким не воевать: я вышел из «Орфея» по своим же синим меткам, четко, как по расписанию, встал на перроне в первом свете и долго дышал. В городе, за спиной, просыпались: сирены, трамваи, Мо с ее борщом. Где-то в трех квартирах, надеюсь, просыпались с новыми классами люди, которые еще не знают, что их выбрало заново.

У забегаловки я постучал в раму — наш с Мо сигнал, два раза, с паузой. Она открыла раньше, чем я успел постучать второй раз, и посмотрела на меня так, как смотрят на тех, кого считали потерянным.

— Селедка, — сказала она. — Живая. Я глазам своим не верю.

— Мо. Лекарства у восточной границы, под третьей плитой, от парапета. — Я сел на табурет, потому что ноги решили, что хватит. — Семье — настоящие. Твой посыльный... он извиняется. Он больше не посыльный.

Мо стояла, держась за стойку обеими руками, и я видел, как по ее лицу проходит счет, короткий и точный, как все, что она делала: кто, сколько, за что. Потом она достала из-

под стойки пустой конверт, посмотрела на него и порвала — медленно, вдоль.

— Двадцать лет, — сказала она. — Двадцать лет у меня счет был чистый, как стекло. — Она подняла на меня глаза, и стекла в них не было: были люди. — Использовали. Первый раз за двадцать лет меня использовали, как дверь, в которую стучатся чужие. — Она помолчала, смахнула что-то со стойки — хотя стойка была чиста, — и добавила уже ровно: — Ну и ладно. Двери умеют больше, чем стены. Двери решают, кого пускать. — Она поставила передо мной борщ и села напротив, что делала только в важных случаях. — Ешь, дублер. И рассказывай. Не про ядра — про тебя. Ядра я сама сосчитаю. А тебя — нет.

Я ел борщ и рассказывал — не про ядра, про себя, и Мо слушала, не перебивая, только один раз, когда я замолчал, сказала:

— Знаешь, что самое страшное в твоей истории? Что он тебя уже увидел. Такие, как он, не охотятся. Они выбирают. Старуха я, я видела таких — правда, видела, — и вот что я тебе скажу, Джек Браун, и бесплатно: пока он тебя выбирал — ты ему нравился. Берегись дня, когда ты ему понравишься по-настоящему.

За окном вставало солнце. На моем запястье кабельная нить из «Орфея» лежала тихая, тонкая и мирная, как канат, с которого давно сняли груз. А где-то в глубине сумки маска была теплая — обеими половинами, и крылом, и шипом, —

что было новым и чему я не нашел названия до сих пор.

ГЛАВА 8. ПЕРЕПРОВОДКА

Три дня после «Орфея» город спал беспокойно и просыпался другим.

Я узнал про первого нового Игрока от Мо: соседка с нашего квартала, та самая продавщица из гастронома, которую зона третировала всю жизнь. Утром встала, пошла на работу, а в дверях остановилась — говорит, стены заговорили. Не словами: цифрами. Система разрешила ей слышать, сколько чего осталось на складах, и к обеду очередь к ее прилавку стояла через полквартала. Вторым оказался пацан лет четырнадцати с нижнего яруса — его класс, по слухам, позволял находить в зонах выходы; третий молчал о своем, и город уважал молчание, потому что после третьего уважать стало принято.

А четвертой стала девчонка.

Она пришла в забегаловку в субботу — вся на взводе, с глазами, в которых топтался новый, еще не развороченный мир. Я узнал ее сразу: та самая, с пустыми руками, которая встала между нашим двором и дырой в первый вечер Раскола.

— Тебя, — сказала она, садясь рядом со мной, как садятся со своими. — Тебе я обязана. Мне сказали — нет, не кто. Оно само. Когда проснулось. Три дня назад, ночью.

— Что проснулось? — спросил я, хотя догадывался.

— Счет. — Она помолчала, подбирая слова, как подбирают камешки через брод. — Я теперь вижу, кто сколько должен. Не деньгами. Удачей. Временем. Тем, что не возвращается. У тебя, ангел, счет самый странный из всех, что я видела: у тебя в приходе написано «жив», а в расходе — пусто. Пусто, понимаешь? Как будто тебя еще не начали тратить.

Я не знал, что на это отвечать. Мо, слышавшая все из-под крышки, ответила за меня:

— А ты к нам зачем, душенька? Просто похвастаться счетом пришла?

— Предупредить, — девчонка посмотрела на меня, и в ее взгляде вдруг не стало ни подросткового, ни городского — стало только то, что бывает в глазах у тех, кто видел баланс. — У него счет не сходится, ваш ангел. Я видела такие: у того, кого он ждет, приход растет, а расход — нет. Это значит, кто-то другой платит за него. Ищи, кто платит, ангел. Пока не поздно.

Она ушла, не дождавшись чая, и Мо долго смотрела ей вслед, потом вытерла стойку и задержала тряпку над деревом дольше, чем требовалось.

— Слышал, дублер? — сказала она. — Счета в этом городе теперь читают дети. Плохие времена для воров. Хорошие — для долгов.

Слух о троих новых Игроках обошел Сент-Уинд за сут-

ки, и к нему прилипло все, что город успел накопить за месяц страха. Газеты — те, что выходили, — писали о «перепроводке» и впервые не врали: не зная деталей, они называли вещь своим именем. Армия объявила регистрацию Игроков «для безопасности всех», и очередь в регистратуру стояла тихая: половина города хотела защиты, вторая половина — чтобы защита не узнала их лишнего. Кэб сказал мне, глядя на очередь: вот, мол, кадр, в котором страшно и смешно одновременно, — такие кадры не монтируют, такие в эфир не пускают, а жаль.

А в четверг вечером по местному каналу вышел сюжет про солдата с кордона. Парень стоял перед камерой, красный, как маяк, и рассказывал про ангела, который спас ему жизнь, — честно, с паузами, лучше любого актера. Ведущая спросила, как его зовут, этого ангела. Солдат замялся и сказал то, что запомнил лучше всего на свете:

— Он ушел и сказал: снято. Я потом спрашивал у тех, кто шарит, — это, говорят, от слова «слейт». Шифер. Так в кино зовут хлопушку. Пишут роли на шифере.

Утром на стенах у развязки дети мелом писали: SLATE. Под рисунком маски. Разделенной пополам.

Я стоял напротив этой стены с чашкой Мон кофе и смотрел на свое новое имя, и оно смотрело на меня — крылом тем, кто мирный, шипом тем, кто нет. Название, у которого две стороны. Как маска. Как я.

— Не нравится? — спросила Мо у меня за спиной: она

шла следом, не скрываясь, что следит.

— Нравится, — сказал я честно. — Только не мне. Городу.

— Городу и надо, — согласилась она. — А тебе надо к стене. Видишь левее рисунка?

Я видел. Под мелом маски, ниже, на высоте груди, кто-то оставил записку — бумагу, приколотую гвоздиком прямо в кирпич. Без адресата. Почерк женский, ровный, с нажимом человека, который переписывал текст трижды, чтобы не дрогнул.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.